СЫЧЕВ МАТВЕЙ

ДВА РОСТКА

СКАЗКА-ПРИТЧА

18+

Матвей Сычёв

Два ростка

«Автор»

2026

Сычёв М. А.

Два ростка / М. А. Сычёв — «Автор», 2026

Два росткаЗима. Глухая деревня. Сестра умирает. Дверь в сарае ведёт в Навь — мир, где за тепло платят собой. Где мёртвые ходят волками и синицами. Где кто-то сказывает сказку — и не собирается её заканчивать.Пахнет дымом, хлебом и полынью. Звучит скрипом валенок, самоваром и мурлыканьем. Здесь не герои — дети. Они ошибаются и платят. Один отдаёт тепло добровольно. Другой теряет его насильно.Славянское фэнтези, где страшно не то, что холодно. Страшно уснуть. И не проснуться.Читайте. Пока не уснули.

© Сычёв М. А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 8
Глава 3 12
Глава 4 17
Конец ознакомительного фрагмента. 21

Два ростка

Глава 1

Анютка сильно болела. Кашель пронзительно сверлил тишину в избе. Маленькая Анюта стала для братьев всем смыслом — сердцем, что могло вот-вот остановиться. Сквозняк гулял по хате, свистел между брёвнами, будто точно знал, где найти самую тонкую щель. Крыша совсем обветшала, стены из сруба потемнели и стали совсем копчёными. Печь топили по-чёрному, да только с прошлой осени она не зажигалась — с того дня, как дети потеряли маменьку. Жили без тятьки: он погиб на службе. Каждому брату по десятку с вершком, а сестрёнка и четырёх вёсен ещё не встретила. Они старались её беречь.

Сестре становилось хуже, она совсем перестала вставать с кровати, почти не говорила. Свят и Гнат отправились в деревню: нужно было найти лекарство от хвори и хворост, чтобы растопить печь. Свят пошёл в лес, где работали Фома и дядька Федот — они готовили дрова для барыни Анжелы Львовны.

Лес стоял предивный: высоченные ели с зелёными хвойными макушками, укутанные в белоснежные шубки, будто застыли в зимней тиши. Только где-то впереди слышался мерный стук топора да низкий голос, выводящий одну и ту же строчку.

Фома, налегая на топор, затянул:

— Эх, дубинушка, ухнем!

Дядька Федот, оббивая сучья, подхватил:

— Эх, зелёная, сама пойдёт!

— Подёрнем, подёрнем, да ухнем!

И снова удар, и снова припев. Ритм был тяжёлый, тягучий, как само зимнее утро.

Из-за заснеженной ели показался маленький Свят. Он постоял немного, глядя, как мужики дружно работают, и прокричал:

— До чего ж ладненько поёте… Только отчего-то грустно.

Фома опустил топор, вытер рукавицей лоб, на котором иней уже смешался с потом.

— Грустно, парень, потому что песня эта не про веселье. Она про то, как вместе силу брать. Один бы я тут до вечера с этой сосной возился, а с песней — в три удара свалили.

Дядька Федот хмыкнул, но без злости, скорее устало:

— А грустно оттого, что не про себя мы её поём, а про работу. Про то, что зима злая, дров надо много, а сил — всё меньше. Да и не привыкли мы весёлые песни в такую стужу горланить.

— Дядь Федот, а дайте мне топорик! Мне недолго, косой проскочить не успеет. Вы с Фомой отдышитесь пока, и песня веселее пойдёт.

Мужики переглянулись.

— Отчего ж не дать, — ответил дядька и протянул свой инструмент.

Топорище было среднего размера — с локоть взрослого мужчины, чуть расшатавшееся и перемотанное льняной тряпкой. Свят перехватил топор, почувствовал непривычный вес и чуть оступился, едва не выронив его. Но хват не ослабил.

Он выбрал подходящий сук, поднял топор, замахнулся… и не рассчитал силу: лезвие лишь скользнуло по коре, а инерция дёрнула Свята вперёд. Он пошатнулся, неловко шагнул назад и сел в снег. Фома негромко хмыкнул, а дядька Федот прикрыл рот рукавицей, пряча улыбку. Но почти сразу оба сделали серьёзный вид.

— Хорош рубака, — пробасил Фома, но без злости. — Топор великоват. Рука с годами набьётся — полжизни, почитай, на это уходит.

— Да мне же сейчас надо! — голос у Свята дрогнул. — Сестричка мёрзнет…

Селяне по природе — люди не злые. Порасспросили про здоровье, да узнали, в чём беда. Почесали затылки, навалили на маленькие саночки дровишек — выбирали самые хорошие, чтоб жарче грели да дольше горели.

Свят снял шапку, поклонился и обнял Фому с Федотом.

— Дай Бог вам здоровья да лёгкого топора, — тихо проговорил он.

Фома улыбнулся, вытер пот со лба. Снял рукавицу, засунул руку за пазуху и достал половину пряника.

— Вот, передай сестре, пусть поправляется, — сказал он и потрепал Свята по голове.

Люди они были доброй души, но в глазах читалась грусть — знали, что зима ещё долго не отступит.

Свят кивнул, подтянул оглобли и потянул сани в сторону деревни.

Тем временем Гнат уже топтался на площади. Там часто собирались люди — чтобы продать урожай или повесить объявление. Мальчик на неделе помогал на кухне у тётки Палашки, кухарки кузнеца, от неё и узнал, что при хвори хорошо ставит на ноги и даёт сил куриный бульон — наваристый и по-хорошему жирный. Денег не было.

Гнат снял шапку, положил её под ноги и залез на колодец из тёсаного камня с деревянной крышей, по форме напоминавшей терем.

Затянул звонко, стараясь вложить в голос всё, что чувствовал:

— Ой, люди добрые, ем впроголодь,

Сплю в холоде, без мамки, без тятьки.

Подайте, Христа ради, помогите сиротинушке!

Он пел хоть и без слуха, но от сердца, а это слышно сразу. Только людей ходило мало: все готовились к Рождеству, и те, кто всё же проходил мимо, старались не смотреть.

Прошёл час, потом другой; начало темнеть. Гнат слез с колодца, глянул — шапка была пуста.

— Пфу, толстосумы, — пробормотал он.

Немного побродив, недалеко от дома кузнеца он увидел курочку — пригожую, чёрненькую, с коричневыми вкраплениями. Ножки ровные, шея длинная, а клювик, видимо, с рождения был кривым. Птица людей не боялась, потому что из-за своей особенности сама поесть не могла и всё время ждала, что её покормят.

Гнат любил животных, но сейчас перед глазами стояло другое: Анютка, бледная и неподвижная, будто холод уже забирал её по капле. Люди говорили, что зима в этом году будет суровой, а без сил сестра не дотянет даже до Рождества.

Он решился. Огляделся по сторонам, проверил ближние окна — никого не видно. Взял курицу под мышку. Она даже не сопротивлялась — не от глупости, а потому что сама всё ждала угощения. От этого становилось ещё больнее.

В одном из дворов как раз стоял пень, а на нём лежал оставленный топор. Руки дрожали. Гнат глянул ей в глаза.

— Прости, — тихо произнёс он и ударил по шее.

Быстро спрятал тушку в мешок и на секунду замер, глядя на эти доверчивые, ничего не понимающие глаза, в которых жизнь уже угасала. По щекам потекли слёзы. В голове долго стояли эти глаза — глаза, не знавшие жестокости.

Поступок был тяжёлым, но сделанное сделано: нужно идти домой и сварить бульон.

Дом их стоял за деревней, на холме. Тятя говорил, что так строили от разлива воды: весной, когда лёд ломался, вода поднималась и заливала низины, а на холме оставалось сухо.

Тем временем Свят уже пришёл в дом и топил печь, сложенную из кирпича. Она занимала треть помещения и была одновременно и очагом, и лежанкой. Сейчас на ней лежала только Анюта.

Свят забрался на печь, чтобы проверить сестру. От тепла она уже проснулась. Прикрытая занавесом от дыма, она сначала даже не поняла, что брат уже здесь.

— Проснулась, маленькая? — улыбнулся он и протянул гостинец. — Это тебе дядь Федот с Фомой послали. Сейчас самовар нагреется — чаю попьём.

Он погладил сестру по голове. Она ничего не ответила, просто молча прижалась к брату. Свят побледнел, поцеловал её в макушку.

— Набирайся сил, — тихо сказал он и слез с печи.

Заскрипела дверь, подул холодный ветер, по спине пробежали мурашки. В дом зашёл Гнат. Волосы его были растрёпаны, вид — усталый, а глаза опущены. В одной руке он держал шапку, в другой — льняной мешок, потрёпанный, с несколькими заплатами.

Он повесил промокший отцовский тулуп, поправил рукава, оглядел тулуп — и взгляд его стал ещё тяжелее, будто сама вещь напомнила о том, чего уже не вернуть.

— А что в мешочке? — негромко спросил Свят.

— Давай бульон отварим, Анютке полегчать должно.

Свят не сразу понял, заглянул в мешок и медленно поднял глаза на брата.

— Я потом объясню, — глухо сказал Гнат.

Свят не стал ничего отвечать. Молча положил руку ему на плечо — и этого хватило. Они принялись готовить вместе.

Гнат ощипал перья, разделал курицу, отложил нужное мясо. Свят сходил на улицу, набрал воды в ведро. Пока он стоял у проруби, бабы на пруду переговаривались: мол, у кузнеца Всеволода пропала одна из несушек. Свят замер на миг, и эта весть холодом скользнула по спине. Он всё понял. Но, вернувшись в избу, ничего брату не сказал.

Вместе они подготовили глиняный горшок, налили туда воды, положили всё необходимое. Свят отодвинул жар к стенке печи, расчистил ровное место на поду и, прихватив горшок толстой прихваткой, поставил его туда, где тепло было ровным и спокойным.

Пар поднялся над горшком, будто сама надежда поселилась в избе. Запах пошёл по комнатке, и даже Анюта, не открывая глаз, потянулась к этому теплу. Гнат сел на лавку и опустил голову. Свят подошёл, сел рядом и тихо проговорил:

— Всё будет хорошо. Мы её вытянем.

Братья накрыли на стол. Анюта проглотила ложку бульона — и будто сама жизнь чуть шевельнулась в ней. Свят подсел к Гнату. Пальцы брата всё ещё дрожали, а лицо было белым, как первый снег.

В этот миг заскрипела дверь. Холод ворвался вихрем, пронёсся по полу и ударил прямо в грудь Гнату, словно знал, кого искать.

Зашёл кузнец Всеволод. Шаги его были тяжёлыми — казалось, сама изба вздрагивала под ними. Широкий, тёмный, он будто подпирал собой потолки. Борода свисала до пояса, а от него и правда тянуло холодом — будто зима вошла следом. Он снял шапку, стряхнул снег. Движения были медленными, грузными. Тяжёлым взглядом он обвёл избу, задержался на мешке в углу. Вдохнул.

— Говорят, у меня несушка пропала, — глухо пророкотал он, и голос его эхом отдался от стен. — А у вас пар идёт… И тепло.

Гната будто пригвоздило к лавке. Кожа побледнела так, что казалась покрытой инеем.

Глава 2

Увидев Всеволода, Гнат замер. Кузнец смотрел пронзительно, будто заглядывал в самую душу. Но тут вмешался Свят.

— Вы проходите, дядя кузнец, холодно же, — тихо, но твёрдо сказал он.

Кузнец медленно перевёл взгляд на детей. Присмотрелся к Анюте — до чего же маленькой, едва живой от болезни. Она вдруг напомнила ему дочь: ту же хрупкость, тот же тихий, доверчивый взгляд.

Свят закрыл дверь, отрезав ледяной ветер. Осторожно взял кузнеца за руку и подвёл к столу. Всеволод оставался грубым, но послушно шёл за мальчиком. От его тяжёлых шагов горшки на полках едва подпрыгивали.

Рука кузнеца была тяжёлой, будто весила полпуда — натруженная, привыкшая к молоту. На ладони темнели отметины от работы с металлом: старые ожоги, мелкие порезы, въевшаяся копоть.

Свят усадил Всеволода за стол, поставил перед ним тарелку и налил куриного бульона.

— Курица, — глухо и басовито произнёс кузнец. Грубо, но без злости напомнил, зачем нагрянул.

— Вы кушайте, — тут же перебил его Свят, будто боялся, что одно неверное слово всё сломает.

Всеволод зачерпнул ложку, подул, словно отгоняя ту самую мысль, которая не давала ему покоя. Проглотил.

И в этот миг, когда в избе повисла короткая, обманчиво спокойная тишина, Гнат смотрел, как кузнец ест, и не выдержал этого молчания. Вид того, как взрослый мужик спокойно ест бульон из курицы, которую Гнат зарубил, давил сильнее, чем любой упрёк.

— Это я её зарубил.

Всеволод поперхнулся. Рука его дёрнулась, деревянная ложка хрустнула и разлетелась в щепки. Он молча вонзил в Гната сверлящий взгляд, и от этого молчания становилось страшнее, чем от любого крика.

Кузнец встал, тяжело опершись о стол, — посуда тихо заколыхалась, звякнули ложки. Он будто хотел что-то пробурчать, вытолкнуть из груди тяжёлый, горький звук, поднял руку — и замер. Потому что увидел маленькую Анюту.

Она, едва держась на слабых ногах, повисла на его ноге, прижалась всем своим крошечным телом.

— Дядюшка кузнец, не ругайте братика! Он, наверное, не знал, что это ваша курочка. Он это для меня…

Всеволод будто потерял опору под ногами. Он качнулся, словно в него ударила невидимая волна. Холод прошёл по спине — не тот уличный, колючий, а тот, который живёт в старых воспоминаниях. В глазах вспыхнули картины прошлого: своя дочь, свой дом, своя беда.

— Завтра приходите ко мне на подворье, — глухо произнёс он, глядя куда-то мимо, в тёмный угол избы. — Оба.

Затем он едва коснулся головы Анюты — лишь кончиками пальцев, будто боялся спугнуть её доверие. Не сказав больше ни слова, резко повернулся и вышел, громко захлопнув дверь.

В хате повисла тишина. Она легла на плечи, тяжёлая и светлая одновременно, буря миновала.

Утро следующего дня.

Братья проснулись — солнце только поднималось. Снег озарялся розоватым отблеском восхода, и от этого он казался почти тёплым — будто зима на минуту притворялась летом. Утренний морозец щекотал лица, ледяными иголочками трогал кожу.

Шли они к кузнецу молча, только снег поскрипывал под сапогами. У дома их встречала большая дубовая дверь, потемневшая от дождей и ветров. Помялись братья у порога, переглянулись, да и постучали.

Дверь распахнулась рывком — будто Всеволод дёргал её уже не в первый раз за утро. Он вышел на порог и чуть не сбил братьев с ног. Тут же одёрнул себя, будто сам удивился своей резкости.

— Это вы, — не спросил, а будто сам себе подтвердил кузнец. И протянул руку — не грозно, а как знак: заходите.

Вид у него был усталый, сонный, будто ночь не спал или ещё не успел проснуться. Будто всю эту ночь он держал что-то тяжёлое, а теперь наконец-то мог чуть опустить плечи.

Невелик был дом кузнеца, да уютен изнутри, по-домашнему ладно. Пахло в нём хлебом, тёплым деревом, железом и… кислой капустой — таким привычным, родным запахом, что Гнат на секунду даже забыл, зачем пришёл.

Свят, не дожидаясь особого приглашения, шагнул внутрь и сразу потянулся ладонями к тёплой стене.

— Холодно-то как, — пробормотал он, потирая пальцы. — А у вас тут тепло…

Всеволод кивнул, прикрыл дверь, отсекая мороз, и только теперь посмотрел на братьев по-настоящему. Не сердито, а скорее оценивающе, как смотрят на чью-то чужую, но нужную работу.

— Ну, раз пришли, дело найдётся, — сказал он спокойно, равнодушно. — Дров наколоть надо, угля принести.

Свят взялся за дрова, а Гнат занялся углём. Дровишки кололись легко, сухие, без сучка, без задоринки. Полено за поленом маршировало на пенёк, будто в казарму — ровно, бодро, одно к одному.

Свят складывал поленницу быстро, ловко, будто ему самому приятно было видеть эту чёткую, правильную стопку: чтобы ни одно полено не торчало, чтобы ветер не развалил, чтобы брать было удобно.

А Гнат тянул свою ношу. По три пуда в мешке — не шутка. С каждым шагом спина будто просила пощады, руки чернели от угольной пыли, и пальцы уже плохо слушались. Он мог бы остановиться, перевести дух, но не останавливался. Стискивал зубы, встряхивал головой, отгоняя усталость, и снова шагал к угольнику.

Кузнец молча наблюдал. Не хвалил, не помогал, только время от времени чуть кивал, будто ставил невидимую отметку.

Всеволод наконец произнёс:

— Ладная работа. Видно, не чужие руки.

Он посмотрел на Гната, который как раз возвращался с очередным мешком, и чуть смягчил голос:

— Хватит на сегодня. Уголь подождёт. Палашка как раз пирог достала. Сейчас ещё в сараишке приберите, а то там всё вверх дном. Мешки в кучу свалены, не продохнуть.

Кузнец указал на перекосившийся сарай.

— А опосля и отобедаем.

Братья переглянулись и пошли к сараю. Внутри пахло пылью, старым деревом и чем-то сырым — будто где-то под мешками давно лежала мокрая ветошь. У стены был уложен рабочий инвентарь — косы, вилы, плуг. Под крышей висел лук и чеснок. Свят сразу принялся разбирать ящики у входа: ему хотелось поскорее навести порядок, чтобы всё стояло ровно, по местам. А Гнат потянулся к высокой стопке мешков, чтобы сдвинуть их и освободить проход.

За мешками с мукой расположилось что-то укутанное в плотное полотно. С той стороны ощутимо тянуло сквозняком — будто щель была такой широкой, что ветер проходил насквозь. Гнат сдёрнул ткань — и тут же окликнул брата:

— Свят! Иди сюда!

Перед ними стояла большая, громоздкая стальная дверь, толстая, монолитная, будто её отливали не для сарая, а для крепости. Она выглядела чужой среди деревянных ящиков и мешков с мукой — тяжёлой, холодной, будто сама вытягивала тепло из воздуха. Дверь оказалась запертой, но замочная скважина была достаточно большой, чтобы в неё можно было заглянуть.

Гнат наклонился, прижался глазом к отверстию. Сквозь щель виднелась темнота, и где-то в глубине мерцало едва заметное синее свечение — такое тихое, будто там горела не лампа, а сама ночь.

— Гнат, не надо! — Свят потянул брата за рукав, голос у него дрогнул. — Вдруг там…

Но Гнат не послушал. Он всматривался в эту синеву, и ему казалось, что она смотрит в ответ.

В этот момент в сарай зашёл Всеволод.

— Ну чего вы тут… — начал он привычно, буднично, будто собирался поручить ещё какую-то работу. Но, увидев, у какой двери стоят братья, осёкся. Лицо его стало каменным, а в голосе пропала всякая усталость — только сталь.

— Идите в дом. Еда стынет. Как будете уходить, корзину захватите. Там хлеб и снадобья для Анюты — Палаша вам собрала.

Братья уже шагнули к выходу, но Всеволод остановил их жестом — не резким, но таким твёрдым, что ослушаться было невозможно.

— Дверь не трогайте, — сказал он очень сухо и строго, так, что по спинам братьев пробежал холодок, холоднее любого сквозняка. — Совсем не трогайте. Ни пальцем, ни взглядом.

Он не добавил: «Иначе будет плохо». Не нужно было. В этом «не трогайте» слышалось всё: и страх, и вина, и что-то такое, о чём лучше не знать.

Вечер этого дня.

День подошёл к концу. Братья отужинали вместе с Анютой. Она уже не кашляла так сильно, дыхание стало ровнее, и в её глазах снова появился тот самый тихий свет, который Гнат боялся потерять. Они дали ей лекарства, укутали потеплее, посидели рядом, пока она не уснула. И когда в избе стало тихо, а угли в печи тихо потрескивали, братья легли, готовясь ко сну.

Свят молчал довольно долго. Потом повернулся к брату:

— Гнат, ты видел? За дверью.

— Видел.

— Что это было?

— Не знаю.

Свят помолчал.

— А он почему так? «Ни пальцем, ни взглядом»… Будто мы и так знали, что нельзя.

Гнат не ответил сразу. Где-то за стеной ветер толкнул ставню, и оба замерли, прислушиваясь.

— Может, и знали, — наконец сказал Гнат. — Только не помним.

Свят повернулся на бок, натянул одеяло до подбородка.

— Мне не понравилось. Там, в этой щели… Будто оно смотрело.

— Оно не смотрело, — сказал Гнат, хотя сам не был уверен. — Просто свет.

— Свет не бывает таким, — тихо ответил Свят. — Свет — он тёплый. А этот…

Он не договорил. В печи щёлкнул уголёк, и оба вздрогнули.

— Ладно, — сказал Гнат. — Спи. Завтра видно будет.

Свят закрыл глаза, но Гнат знал: брат не уснёт ещё долго. Как и он сам. Дверь засела в голове, как заноза, которую не вытащить: тяжёлая, холодная, с той самой синей искрой внутри. Глаза потяжелели сами собой.

Холод пришёл первым. Не снаружи — изнутри, будто лёгкие наполнились зимним воздухом. Гнат открыл глаза и увидел белое поле. Ноги босые, снег под ними — и он не чувствовал холода, хотя знал, что должен.

Девочка стояла недалеко. Маленькая, ему по плечо. Лицо белое, как первое молоко, глаза — тёмные, тяжёлые, не детские. Она смотрела так, будто уже давно ждала его.

Гнат шагнул к ней. Не потому что хотел — ноги шли сами.

— Зима идёт, — сказала она, и голос был не голос, а скрип снега под чужими шагами, где-то далеко, в поле, где не должно быть людей.

Гнат проснулся.

Глава 3

Гнат проснулся среди ночи. Не от звука — от холода. Руки дрожали мелко, кожа на них посинела, будто он спал не на лежанке, а ночевал в стогу. Печь ещё дышала теплом, угли тлели под пеплом — но до Гната оно не доходило, будто кто-то забрал тепло по дороге.

В избе стояла тишина густая, какая бывает только в глухую зимнюю ночь. Ни ветра за стеной, ни скрипа ставни, ни далёкого собачьего лая. Мебель угадывалась во тьме едва-едва — печь, стол, лавка, — всё слитое, тёмное, будто тени наелись мрака и стали тяжелей.

Гнат закрыл глаза, попытался уснуть. Но сон не шёл. Мысли лезли и лезли, как вешняя вода из низин: тихо, неотступно, со всех сторон. Дверь. Синий свет. Девочка в белом поле. Голос, который был не голос, а скрипом снега под чужими шагами. Всё это ворочалось внутри, не отпускало, будто в груди засел холодный уголёк — не горит, а тлеет.

И мысль одна вытеснила все остальные: дверь. Та самая, за мешками, в сарае кузнеца. Что-то в ней было, что-то, что звало — не голосом, а тем же холодом, который разбудил его.

Гнат сел на лавке. Посидел, сжимая колени. Потом протянул руку и тряхнул брата за плечо.

— Свят. Проснись.

Свят не сразу понял. Приоткрыл один глаз, буркнул что-то невнятное, уткнулся было обратно.

— Свят, — тише, но твёрже повторил Гнат. — Проснись. Надо.

Свят сел, протёр глаза. В темноте лица его видно не было, но Гнат чувствовал: брат смотрит.

— Что случилось? — сонно, вполголоса.

Гнат помолчал, подбирая слова. Потом заговорил — быстро, тихо, будто боялся, что если скажет слишком громко, оно услышит. Про сон. Про белое поле. Про босые ноги на снегу, который не холодил. Про девочку — маленькую, по плечо, с лицом белым, как первое молоко, и глазами тёмными, тяжёлыми, недетскими. Про голос, который был скрипом снега под чужими шагами.

Свят слушал молча, и чем больше слышал, тем шире раскрывал глаза — сон слетал с него, как кора с полена.

— Кто она? — наконец спросил он.

— Не знаю.

Свят помолчал. За стеной ветер толкнул ставню — и оба замерли, прислушиваясь. Тихо. Просто ветер.

— Думаешь, та дверь… — Свят не договорил, но Гнат и так понял. — Что это за свет был?

— Не свет, — сказал Гнат. — Нужно проверить.

Свят посмотрел на брата. Гнат знал этот взгляд: «Зачем? Куда мы пойдём? Ночь на дворе». Но вслух Свят ничего такого не сказал. Только:

— Ладно. Одевайся.

Оделись в темноте, на ощупь — шапки, валенки. Свят набросил отцовский тулуп, потрёпанный, и привычно сунул руки в рукава, будто в старые, знакомые тёплые рукавицы.

Вышли на крыльцо. Ночь была глухая, безлунная. Снег не блестел — лежал ровно, мёртво, будто саван. Мороз хватал за нос, за щёки, забирался под тулуп. Деревня спала: ни одного огонька, ни одного звука, только снег скрипел под ногами.

Гнат на мгновение остановился. Анюта одна. Если они не вернутся — она… Он оборвал мысль, потому что думать об этом было нельзя.

Двор Всеволода в ночи был не страшный — пустой. Будто из него унесли всё живое и оставили только очертания: сарай, кузня, забор — всё тёмное, плоское, будто нарисованное углем на холсте. Собаки не было. Калитка не скрипнула — просто открылась и закрылась, как сама собой.

Свят шёл за братом, шаг в шаг. Он любил тайны — но эта не нравилась ему всё больше. В голове крутилось не то, что сказал Гнат, а то, как он это сказал: быстро, тихо, будто кто-то подслушивал. «Не свет». А что тогда?

Сарай был открыт настежь — будто дверь не просто отворили, а сорвали с того места, где она держалась. Ставни у стальной двери, которые днём были прикрыты плотным полотном, теперь стояли распахнутыми. Полотно лежало в стороне, аккуратно, будто его сняли, а не смахнули.

Свят остановился на пороге. Гнат шагнул внутрь — и тут же замер: из-за двери тянуло тем же холодом, что разбудил его ночью. Не сквозняком — холодом, который шёл оттуда, из-за стали, будто дверь и не закрывала ничего, а только делала вид.

— Ставни кто-то открыл, — тихо сказал Свят. Голос его прозвучал глуше, чем он хотел.

Гнат не ответил. Подошёл к двери, потянул за кольцо. Дверь поддалась легко — слишком легко для такой тяжести, будто её держало не что-то, а кто-то.

За порогом — темнота. Не та, какая бывает в избе ночью, когда ещё можно угадать печь и стол, а другая: плотная, сплошная, будто свет сюда никогда не заходил и не собирался.

— Там темно так, что и глаза не нужны, — прошептал Свят.

— Пойдём, — сказал Гнат.

Они шагнули вместе. Один шаг — и темнота сомкнулась за спиной, мягко, беззвучно, будто и не было ни порога, ни сарая, ни двора.

Темно.

А потом — голос. Девичий, тонкий, похожий на хруст снега под ногой, когда снег уже не снег, а лёд, и ломается с тихим, чистым звуком.

— Она идёт.

Глаза стали тяжёлыми — будто утро уже наступало, а спать всё не отпускало. Гнат хотел моргнуть, стряхнуть это, но не мог. Где-то далеко, на грани слышимости, каркали вороны — одна, другая, всё глуше. А потом карканье сменилось пением птиц. В тишине проявился шелест травы. Тихий, ровный, живой — такого зимой не бывает. И дуновение ветра — не ледяное, не колючее, а тёплое, как в конце мая, когда земля уже проснулась.

И тепло. Тепло — не от печи, не от тулупа, не от углей. Оно шло отовсюду, мягкое, живое, настоящее. Солнце? Да, солнце — он чувствовал его на лице, на руках, на щеках, — но глаз открыть не мог.

Сон? Или не сон? Темнота стояла плотно, а внутри неё — трава, ветер, тепло. Будто кто-то перепутал зиму и лето, ночь и день, и теперь мир не знал, какой он.

А потом — рывок. Будто кто-то выдернул занозу. Темнота лопнула, и в глаза ударил свет — зелёный, живой, дробный, сквозь хвою.

Братья проснулись среди елей. Поднявшись, они осмотрелись: стояли посреди леса.

Лес стоял предивный: высоченные ели с зелёными хвойными макушками, укутанные в тёплый туман, будто застыли в летней дремоте. Только где-то впереди слышался мерный стук топора да низкий голос, выводящий одну и ту же строчку.

Свят схватил брата за рукав.

— Слышишь?

Гнат кивнул. Стук топора. И песня — та самая.

— Это Фома! — Свят улыбнулся впервые с ночи. — И дядька Федот! Слышишь? Та же песня!

И вправду: знакомый ритм, знакомый голос, знакомые слова. Будто и не было ни двери, ни темноты, ни сна про белое поле. Будто они просто заблудились в своём лесу и вышли на знакомую делянку.

Фома, налегая на топор, затянул:

— Эх, дубинушка, ухнем!

Дядька Федот, оббивая сучья, подхватил:

— Эх, зелёная, сама пойдёт!

— Подёрнем, подёрнем, да ухнем!

И снова удар, и снова припев. Ритм был тяжёлый, тягучий. Братья выдохнули — и пошли на звук.

Но земля под ногами пружинила мягко, влажно — не мёрзлая, не каменная, а живая, прогретая насквозь. И пахло не хвоей и стужей, а землёй, тёплой, сырой, как в огороде перед посадкой. И ели здесь были те же — и не те: выше, гуще, без единой белой крупинки на лапах, будто зима сюда не добралась. Или не захотела.

Свят не замечал. Гнат замечал, но молчал — не хотел ломать то облегчение, которое наконец-то увидел на лице брата.

Братья вышли из-за сосен. Глядя, как мужики дружно работают, Свят прокричал:

— До чего ж ладненько поёте… Только отчего же грустно.

Фома опустил топор. Вытер рукавицей лоб — но инея на нём не было. Пот был, а инея нет. Будто и не зима вовсе.

— Грустно, парень, потому что песня эта не про веселье. Она про то, как вместе силу брать.

Те же слова. Та же интонация. Гнат стоял чуть позади брата и смотрел на Фому — лицо в лицо, черта в черту. Та же борода, та же рукавица, тот же топор. Но что-то не сходилось, и Гнат не мог понять что.

Дядька Федот хмыкнул — так же, без злости, устало:

— А грустно оттого, что не про себя мы её поём, а про работу. Про то, что зима злая, дров надо много, а сил — всё меньше.

Гнат глянул под ноги. Трава. Зелёная, живая. «Зима злая». Какая зима?

Но Фома уже снова поднял топор, и песня пошла дальше — и тут братья замерли.

— А в лесу, в лесу — темным-темно, — выводил Фома, и голос его не менялся — тот же, ровный, тягучий.

— Эх, дубинушка, ухнем!

— Где топор стучит — там и стужа лежит, — подхватил Федот.

— Эх, зелёная, сама пойдёт!

Свят улыбался — ещё держалось. Знакомый мотив, знакомые голоса. Просто новые слова, вот и всё. Мужики всегда добавляют куплеты, когда работа долгая.

— Подёрнем, подёрнем, да ухнем!

Удар. Ещё удар. И Фома затянул снова — и голос его стал чуть ниже, чуть глуше, будто песня набирала вес:

— Двое в лес пошли, дрова рубить,

— Эх, дубинушка, ухнем!

— Один топор поднял — другой не успел,

— Эх, зелёная, сама пойдёт!

Свят перестал улыбаться. Перевёл взгляд на Гната. Тот стоял неподвижно, и лицо его побледнело — не как от мороза, а как от того, что внутри уже всё понял, но не хотел верить.

— А сосна рухнула — двоих придавила, — Фома рубил и пел, и топор падал ровно, будто бил не по дереву, а по чему-то другому.

— Эх, дубинушка, ухнем!

— Где были двое — там двое лежат,

— Эх, зелёная, сама пойдёт!

Свят шагнул назад. Дядька Федот оббивал сучья — те же сучья, тем же движением, с тем же хмыканьем. Будто не слышал, что поёт. Или слышал — и это было привычным, как для них — стук топора.

— А топор всё стучит — рука не дрожит, — Фома не смотрел на братьев. Смотрел на дерево, которое рубил. Или на то, что было за деревом.

— Эх, дубинушка, ухнем!

— Кто дерево валит — коли сам повален?

— Эх, зелёная, сама пойдёт!

Гнат схватил брата за руку. Рука была ледяная — хотя вокруг было тепло, зелено, и пахло землёй.

— Свят, — шепнул он. — Это не они.

— Тихо, — ответил Свят, хотя сам уже всё понимал.

Последний куплет Фома вывел тише — не крикнул, а проговорил, будто людям не рассказывал, а себе напоминал:

— А зима идёт — не с горы, не с ветру,

— Эх, дубинушка, ухнем!

— Из-под коры, из-под снега, из-под земли,

— Эх, зелёная, сама пойдёт!

— Подёрнем, подёрнем, да ухнем!

Топор ударил в последний раз — и дерево не рухнуло. Просто замолчало. И Фома замолчал. И Федот замолчал. И лес замолчал.

А потом Фома повернулся к братьям. Лицо его было то же — доброе, усталое, с морщинами у глаз. Но глаза не теплились. Не светились. Будто за ними кто-то задул свечу и забыл зажечь.

— Отчего ж не подходишь, парень? — сказал Фома тем же голосом. — Али топорика хочешь? Дадим, отчего не дать.

Дядька Федот кивнул — тем же движением, с тем же хмыканьем. И протянул топор — с локоть взрослого мужчины, перемотанный льняной тряпкой. Те же руки. Те же лица.

Свят не взял. Стоял и смотрел, как Фома улыбается — правильно, ровно, как на иконе: и не зло, и не добро, и не живое.

— Дядь Федот, — сказал Гнат, и голос его не дрогнул — потому что дрожать было уже некуда. — А помните нас?

Федот моргнул. Медленно, будто считал секунды между мигами.

— Помнить? — переспросил он. — А чего ж не помнить. Были близнецы. Или будут. Или есть. Да кто вас тут разберёт.

Фома улыбнулся шире — и от этой улыбки повеяло таким же теплом, как от всего леса: ровным, пустым, неживым. Потянулся за пазуху, пошарил в кафтане и протянул в сторону Свята руку.

— На, возьми пряник, скушай.

На ладони у него лежал кусок угля. Чёрный, тусклый, с мутным бликом — будто только что из печи. Фома держал его бережно, двумя пальцами, как держат настоящее угощение — и глаза его при этом не изменились, не моргнули, не дрогнули. Будто и правда думал, что это пряник.

Свят отшатнулся.

— Довольно, — сказал дядька Федот. И голос его стал другим — не усталым, не пустым, а тяжёлым, как земля после дождя. Это было сказано Фоме. Фома опустил руку, и уголь исчез в складках кафтана — будто его и не было.

Федот повернулся к братьям. Лицо его было то же — то же, да не то. Морщины те же, борода та же, хмыканья те же — но глаза вдруг стали ясными, будто кто-то за них всё-таки зажёг свечу. Только свеча эта горела не для братьев, а мимо них — куда-то сквозь, будто он смотрел на них, но видел другое.

— Выбираться вам надо, — сказал он. Тихо, просто, не пугая. Будто сказал: «Дорога туда». И кивнул — за спину братьям, обратно, в лес.

Братья обернулись.

Глава 4

Свят достал топор из пня. На вид — тот самый, которым он не смог и сучья отрубить. Но лёг в руки так ладно, будто ждал их — невесомый, тёплый, точно сам просился в работу.

— Ай да диво, — Свят повертел его, подбросил чуть, поймал. — Гнат, ты глянь.

Гнат не глянул. Хмурился, смотрел в ту сторону, куда кивнул лесоруб.

— Пошли отсюда.

Тропа была вытоптана — не ногами, а чем-то, что ходило здесь часто и одним путём. Сосны стояли высоченные, макушками в небо, конца-краю не видать. Лес зелёный, густой. На ветках пели соловьи. У старой коряги возились медвежата — лапами друг друга мяли, катались, рычали. Дятел выстукивал дробь по сухому стволу. Заяц сидел на пне, передними лапами по нему колотил — косой, уши торчком.

Свят улыбался. Лето пришло так внезапно, будто кто-то просто выгнал зиму взашей. Гнат молчал. Медвежата, соловьи, заяц — всё было как на картинке: красивое, тёплое и какое-то слишком правильное, будто кто-то расставил всё по местам и ушёл.

Вороний крик оборвал всё.

Братья поспешили на шум. Подходя ближе, услышали высокий, хриплый, чуть шепелявый голос:

— А ну брось, окаянная, брось! Кому говорю!

Стая ворон налетела на старичка — запутался в корнях, не мог выбраться. Ростом — едва до пояса взрослому.

Вороны поднялись шумно, с карканьем — неохота было бросать. Теперь можно было разглядеть, кого они зажали. Голова крупная, не в меру телу. Борода помятая, росшая клочьями. Волосы рыжие, взъерошенные, выцветшие от возраста. Лицо — морщинистое, похожее на кору дерева. Нос картошкой.

Старичок сидел в корнях, тяжело дышал и молчал. Смотрел на братьев исподлобья — не просил помощи, не благодарил. Просто смотрел. Взгляд был мутный, старый, будто он видел сквозь них.

— Э… вам помочь? — осторожно спросил Свят.

Старичок не ответил. Шевельнул плечом, будто пробуя, болит ли. Потом прохрипел, словно вороны выдавили из него голос:

— Помочь… А вы сами-то как тут?

Свят с Гнатом переглянулись.

— А что с нами? — спросил Гнат, щурясь.

Старичок снова замолчал. Отряхнул бороду от земли, выпрямился — насколько мог, — и уставился на топор в руках Свята. Глаза его вдруг прояснились.

— Откуда топор?

— Нашёл, — ответил Свят. — На пне лежал.

— На пне, — повторил старичок. Не спросил — повторил, будто пробовал слово на вкус. — На пне. Ну-ну.

Он тяжело вздохнул, выбрался из корней, отряхнулся. Был он мал, растрёпан и жалок, но в голосе, когда он заговорил снова, было не жалобное, а ворчливое:

— А ну вас. Я чуть не оклевали эти твари, а вы стоите, глаза пучите. Нет бы сперва помочь, а потом расспрашивать. Эх, люди…

— Так мы и помогли, — виновато сказал Свят. — Вон, вороны улетели.

— Вороны, — фыркнул старичок. — Это не вороны. Это здесь — вороны. А у вас — тоже вороны. Только здесь они… — он махнул рукой, — потолще будут. И поумнее.

Гнат нахмурился.

— Вы кто?

Старичок смерил его взглядом — сверху вниз, хотя ростом едва до пояса. Вытянул шею, выпятил грудь, будто готовился произнести речь:

— Кузьма. Сын Кузьмы. Потомственный домовой в седьмом поколении.

Он помолчал, выжидая впечатления. Братья молчали, но не от впечатления — от растерянности.

— Домовой? — переспросил Свят.

— Домовой, — подтвердил Кузьма с обидой. — А ты думал — кто? Изба у меня, хозяин у меня, печь у меня. Всё как у людей. Только вот… — он запнулся, махнул рукой, — неважно.

— А почему вас вороны… — начал было Свят.

— Я сказал: неважно! — отрезал Кузьма. Потом опять вздохнул, будто его собственная злость его и утомила. — Давно я из дому. Давно. А здесь… неуютно.

— Где — здесь? — спросил Гнат тихо.

Кузьма посмотрел на него — долго, внимательно. Будто прикидывал, стоит ли говорить. Потом отвёл взгляд, посмотрел на зелёный лес, на соловьёв, на медвежат у коряги — и лицо его стало не ворчливым, а усталым.

— Вы через дверь пришли?

Братья вздрогнули. Гнат — сильно, Свят — чуть, но оба.

— Откуда вы… — начал Гнат.

— Дверь стальная, — перебил Кузьма, — тяжёлая. И за ней синее светит. Так?

Молчание.

— Так, — сказал Кузьма и кивнул сам себе. — Ну. Значит, вы и не знаете, где вы.

Свят шагнул вперёд:

— А мы где?

Кузьма помолчал. Посмотрел вверх, на сосны, будто спрашивал у них разрешения. Потом поднял указательный палец:

— Навь, паря. Вы в Нави.

Братья переглянулись.

— На-ви-что? — протянул Свят.

— Не «что», а Навь, — поправил Кузьма с невозмутимым видом. — Ну… как бы вам объяснить. Это не ваш лес. Не ваша зима. Не ваш мир. Вы по ту сторону.

Гнат побледнел. Свят сжал рукоять топора так, что костяшки побелели.

— А… а как назад? — голос Свята дрогнул.

Кузьма не ответил. Сел на корень, достал из бороды какую-то былинку, пожевал. Лицо его снова стало ворчливым:

— Назад… Вы сперва разберитесь, куда пришли, а потом спрашивайте, как назад. Эх, люди… Нет бы сперва подумать, зачем дверь открывать, а потом открывать. Нет — открыли, вошли, а теперь «как назад». — Он сплюнул. — Ой, беда… Беда.

— А по что беда-то сразу? — Свят выпрямился. — Мы целы. Нас сестра ждёт. Да и кузнец же, наверное, сердиться будет.

— А чего ему сердиться? — Кузьма покосился на Свята с усмешкой. — От того-то и беда, что без вас теперь не вылезти.

Гнат вздрогнул:

— Как — без нас?

— А так. Тот тоже сюда залез, интересно ему было. А она не глупая, не любит, когда её обманывают. И наказала. — Кузьма щёлкнул зубами, будто откусил. — Заперла.

— Кто она? — выпалил Гнат. — Как обманули? Как наказала?

Кузьма смерил его взглядом — тем самым, усталым, сверху вниз, хотя ростом едва до пояса.

— Да чего мне вам объяснять, если я вам не объясню? — сказал он, как отрезал, и пошёл вперёд, бубня себе под нос:

— Пфу ты… Люди. Нет бы сначала узнать, а они полезли. Теперь: «по что», «по что». И удивляются. А этот тоже пришёл, важный. Говорит: знаю, знаю. Я ему: она цену попросит. Он: знаю, знаю. А как цену платить — так ко мне. Все ко мне. — Он сплюнул. — Пфу ты.

Пришли.

Поляна — ровная, круглая, будто её вырезали из леса ножом. Трава на ней росла, но не колыхалась — ни ветра, ни движения, ни единого шороха. Соловьи смолкли, медвежата исчезли, даже дятел перестал стучать. Будто лес затаил дыхание.

Посреди поляны стояла девочка.

Та, которую Гнат видел во сне.

Или не девочка.

Ростом — как сам Гнат, может, чуть ниже. Волосы светлые, почти белые, длинные, распущенные, и каждый волосок лежал ровно, будто её только что причесали и забыли. Кожа — белоснежно-бледная, без единой кровинки, будто из неё вытянули весь цвет. Не больная белизна — неживая. Такая бывает у того, кто долго лежал на морозе: кровь уходит внутрь, а снаружи остаётся только холод.

Лицо — маленькое, тонкое, с острым подбородком и высокими скулами. Красивое. Красивое той страшной красотой, которая бывает у икон: не живое, но живее живого. Глаза — большие, тёмные, и в них горел свет. Не отражённый, не солнечный — свой, внутренний, как у зверька, который притаился в тёмной норе и смотрит.

Она не двигалась. Стояла — руки вдоль тела, пальцы чуть растопырены, будто держала что-то невидимое и не выпускала. На ней было платье — простое, деревенское, льняное, но белое-белое, будто его вымыли в снегу. Босые ноги стояли на траве, и Гнат увидел: трава под ними не примята. Будто она не стояла — а висела, чуть-чуть, на незаметной высоте, и только казалось, что ступает на землю.

От неё шёл холод. Не ветер, не сквозняк — холод, который шёл от кожи, как от проруби. Гнат почувствовал его первым, ещё до того, как разглядел лицо. Тот самый холод — из сна. Тот, что впивался в кожу тысячами иголочек.

— Это она? — шёпотом спросил Свят. Пальцы его побелели на рукояти топора.

Кузьма не ответил. Снял шапку — грязную, рыжую, свалявшуюся — и сжал её в кулаке. Лицо его стало не ворчливым и не усталым — жалким. Он смотрел на девочку так, как смотрят на то, к чему привыкнуть невозможно, хотя видел уже не раз.

— Она, — тихо сказал Кузьма. — Курганна.

Гнат не понял слова. Но почувствовал — оно тяжёлое, старое, из тех, что не говорят в избе и не повторяют дважды.

— Она… это кто? — голос Свята дрогнул.

Кузьма посмотрел на братьев, потом на девочку, потом снова на братьев. Будто выбирал, что можно сказать, а от чего лучше отступиться. Потом сел прямо на землю, обхватил колени руками и заговорил — не ворчливо, не зло, а тихо, будто рассказывал то, что давно носил в себе:

— Хозяйка это. Навья хозяйка. Ей этот лес, ей этот мир, ей дверь та. Она впускает. Но не выпускает.

— А при чём тут мы? — Гнат стиснул зубы.

— При том, что вы через её дверь пришли. Без спроса. А она, я сказал, не глупая.

Свят шагнул вперёд:

— Так мы не знали! Мы просто…

— Она не разбирает — знали, не знали, — перебил Кузьма. — Дверь открыл — значит, плати.

— Чем? — Гнат посмотрел на свои руки — грязные, в угольной пыли. — У нас ничего нет.

Кузьма не ответил. Смотрел на девочку. И Гнат вдруг увидел: в руках у неё что-то было. Не топор, не палка — просто свечение, маленькое, тёплое, оранжевое, будто уголёк из печи. Оно пульсировало — еле заметно, как сердце, которое бьётся всё реже и реже.

Гнат узнал это свечение. Не видел — узнал. Так горит огонь в печи, когда мать только-только закрыла заслонку и дрова ещё не прогорели. Так теплеет изба, когда в ней кто-то живой.

— Это… чей? — спросил Гнат, и голос его стал чужим.

Кузьма помолчал. Потом сказал, глядя в землю:

— Был одного. Тоже, как вы, через дверь полез. Только он — взрослый, важный, думал, что справится. Думал, что умнее всех. Она ему цену назвала. Он не заплатил.

Свят побледнел:

— И что?

— А то. — Кузьма кивнул на девочку. — Она забрала. Самое дорогое. Чтобы помнил.

Гнат смотрел на девочку. На белое лицо. На тёмные глаза, в которых горел тот самый — неживой, но живее живого — свет. На платье, белое, будто снежное. На маленькие босые ноги, которые не касались земли.

И вдруг понял.

— Кузнец, — вырвалось у него. — Это его дочь.

Кузьма поднял на него глаза — медленно, тяжело. Не удивился. Только кивнул.

— Его. Всеволода. Та, что у него была, пока он не полез за дверь. Хозяйка забрала её и держит здесь. Не мёртвую — не живую. Вот так, как видите. Девочка стоит, а выйти не может. И кузнец ваш выйти не может. Потому что цена не заплачена. А платить — он не знает чем. Или знает, да не может.

Гнат вспомнил: кузнец в их избе, когда увидел Анюту. Как качнулся, будто его ударили. Как сказал «завтра приходите» — глядя в тёмный угол, мимо них. И как коснулся головы Анюты кончиками пальцев, будто боялся спугнуть.

Не Анюту он видел. Свою. Ту, что стояла сейчас на поляне, в белом платье, с угольком в руках.

— А что… что с ней будет? — спросил Свят, и голос его был тонким, детским, без той бравады, с которой он ещё утром крутил топор.

— Пока кузнец здесь — она здесь. Пока дверь стоит — она здесь. Пока цена не заплачена — она здесь. — Кузьма встал, отряхнул колени. — Вот и всё. Идите. Разговорили.

Но братья не двинулись. Гнат стоял и смотрел на девочку, и внутри него что-то рвалось — не страх, не жалость, а то самое, что заставило его поднять топор над курицей. Понимание, что в этом мире кто-то всегда платит за чужую ошибку.

Девочка повернула голову. Медленно — так медленно, что Гнат услышал, как хрустнула шея, будто заледеневшая. Посмотрела ему в глаза. Уголёк в её руках мигнул — ярче, на секунду, — и снова потух.

— Зима идёт, — сказала она.

Тот самый голос. Нечеловеческий. Как шелест метели в пустых полях.

Гнат не шелохнулся. Но Свят схватил его за рукав — рванул, потянул назад.

— Гнат. Уходим. Сейчас.

Гнат не услышал. Он смотрел в её глаза и думал: это та, которую кузнец потерял. Та, вспомнив о которой он коснулся головы Анюты так осторожно. Та, что стояла здесь, в чужом мире, одна, босая, неживая — и ждала.

— Мы вернёмся, — сказал Гнат. Не знал кому — ей, брату, себе. Просто сказал.

Девочка не ответила. Уголёк в её руках мигнул ещё раз — тихо, еле-еле — и погас.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.